



В ГОСТЯХ У ЧЕХОВА

ВЕРХ, вверх по асфальтовому серпантину дороги, меж старых белостенных домов и статных новостроек, меж высветленных таврическим солнцем штакетников и сложных из бута оград — на взгорье Аутки, к «Белой даче», где прошли четыре с половиной года ялтинской жизни Антона Павловича Чехова.

Притихшие, безмолвно ожидающие встречи с неведомым, хотя, казалось бы, и знакомым со школьной скамьи художническим миром писателя, мы подходим в группе экскурсантов к ажурной изгороди чеховского дома. И так велико предчувствие чего-то прекрасного, так глубоко состояние светлой сосредоточенности, что их не может омрачить ни громоглаголющая за нашей спиной, на площади, неказистый памятник, по непостижимой логике изобразивший Чехова самодовольным, ни аллюватые, в человетический рост фигуры — персонажи его рассказов: злоумышленник, толстый и тонкий, хамелеон, человек в футляре, дама с собакой... Неведомые ваятели, не посовещавшись с работниками музея, вставили перед домом это странное, сомнительного вкуса «на-

глядное пособие», о котором можно сказать словами Чехова: «Намерения были благие, а исполнение вышло плохосимое».

Нет, даже эта металлическая абракадабра не может заступать путь к Чехову любому, кто пришел сюда. К обиталищу чеховской души, к его строчкам, возникшим здесь.

Первое мимолетное свидание с Ялтой произошло у Чехова, как известно, в 1888 году. «Море чудесное, синее и нежное, как волосы невинной девушки», — писал он тогда. — На берегу его можно жить 1000 лет и не соскучиться. Позднее, в 1894 г., измотанный доминиканским его кашлем, он приезжает в третий раз — уже лечиться. Поселяется в гостинице «Россия».

Вновь, как и при первой встрече с Ялтой, крымские впечатления заполняют записную книжку и в теснящихся строчках уже теплятся огоньки будущих сюжетов. Бескомпромиссный чеховский глаз подмечает нелепые черты курортных нравов. Тут все рядом, почти вместе — неустроенность отчаявшихся больных, тупая праздность здоровых, ярмарочная пестрота приморского города с его жалкими претензиями походить на европейский курорт, человеческие типы, разнообразные истории... и сдержанная при всем своем волшебстве красота природы, удивительные краски и запахи моря. Все, все отозвалось на страничках рассказов и повестей «Три года», «Черный монах», «Ариадна» и, конечно, «Дама с собачкой» — этого шедевра чеховского пера.

Однако прежде чем войти в музей, экскурсанты толпятся возле выставочного павильона. Когда в его стенах оборудуют, наконец-то, литературную экспозицию «Жизнь и творчество А. П. Чехова», посетители будут переступать порог чеховской дачи в какой-то мере духовно подготовленными, в том высоком состоянии души, когда она готова раскрыться навстречу новым впечатлениям.

Но вот скрипнула железная

калитка, и сад встречает нас плотной прохладой деревьев, терпким ароматом разнотравья. Осенью 1898 г., когда больной Антон Павлович решил по настоянию врачей окончательно поселиться в Ялте, он за относительно небольшую сумму приобрел этот участок. Купить другой, пониже, чтобы не подниматься так высоко при больных-то легких, увя, не хватило средств. Но зато здесь было тихо, взору открывалась неизящнейшей красоты панорама. «Это не вид, а рахат-лукум», — шутил он.

Казалось невозможным расчистить участок от камней и чертополоха, от одичавших кустов винограда. С каким усердием, вкусом и фантазией обустраивал хозяин дачи свой сад, каждое высаженное дерево доставляло ему едва ли не ребяческую радость. И он почти всерьез убеждал, что если бы не занятия литературой, то стал бы непременно садовником.

Притихший, замкнувшийся без хозяина в молчаливом покое дом продолжает жить новой, музейной жизнью. Вся обстановка мемориальных комнат, порядок вещей и предметов, еще хранящихся, кажется, тепло рук Чехова, отразили его артистическую душу и врожденное благородство, тонкий вкус, изысканный, ироничный ум, скрытую духовную силу. Невольно проникаешься чувством благодарности к тем, кто во главе с М. П. Чеховой, сестрой писателя, заботливой устроительницей музея, сумел все это бережно и умно сохранить.

Прочным уютом, домашним теплом, которых Антону Павловичу всегда так не хватало в даятинской жизни, веет в гостиную от висящей над сто-

лом лампы с белым стеклянным абажуром, картин, мягких кресел и дивана, старинного буфета, привезенного из Мелихова. В тяжкую годину войны в комнате расположился, словно на бивуаке, немецкий офицер и чувствовал себя тут в безопасности. Если бы он знал, что в этом доме хранилось самое взрывчатое оружие — тридцать томов Сочинений В. И. Ленина, спрятанных М. П. Чеховой!

Вещи завораживают своей историей. Сколько лет безмолствует скромно притулившееся к стене пианино, купленное Антоном Павловичем в Ялте. А на нем играл С. Рахманинов, под его аккомпанемент пел Ф. Шаляпин. Глубоко чувствовавший музыку, Чехов самозабвенно слушал романсы П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова. Под большой фотографией писателя, над диваном, — преподнесенные восторженным зрителем пальмовые ветви в футляре и приколотая к ним красная лента с надписью: «Антону Павловичу Чехову, главному истолкователю русской действительности. 23 апреля 1900 года». В этот памятный день Московский Художественный театр, приехавший в Ялту на гастроли (а скорее порадовать больного автора постановками его пьес), давал последний спектакль — «Чайку».

В кабинете писателя на изящном столике — веер фотографий, многие с автографами, визитные карточки от дорогих и близких людей — В. Немировича-Данченко, К. Станиславского, В. Качалова, А. Артема, М. Андреевой, И. Тихомирова... Они напоминают о тех душистых, счастливых весенних днях, когда после репетиции или спектакля оживленная ватага артистов вваливалась в гостиную. Рассаживались вокруг стола, постоянно накрытого Марией Павловной и Ольгой Книппер, хлопотавшей на правах будущей хозяйки дома. «Я люблю шум больше, чем гонорар», — писал Антон Павлович.

Сколько слышали эти стены веселых историй, восторженных речей и клятв, анекдотов, серьезных слов о театре, искусстве, литературе! М. Горький, воодушевленный волевым духом мо-

лодой труппы, обжигал слушателей смелыми образами, вспоминая о своей трудной сценической жизни. Уральский писатель Д. Мамин-Сибиряк, талантливые вещи которого хвалил Чехов за народный дух и сочность языка, развлекал общество мгновенно рождавшимися шутками. Ироничный И. Бунин, в осенние и зимние месяцы не раз скрашивавший одиночество ялтинского отшельника, сверкал молниями остроумия. Смех, веселье вызывали разыгрываемые И. Москвиным сценки из жизни кулисы. Антон Павлович, предпочитавший обычно молчать и слушать, добродушно улыбался, его карие лучистые глаза светились почти детской радостью.

Наверное, нередко возникала здесь минута истины, когда молодому и не очень молодому посетителю дома-музея вдруг хотелось постоять, помолчать в располагающей к этому комнате, углубиться в себя, подумать о жизни, перебирая в уме, что успел сделать доброго, где остушился, по совести ли всегда поступал, бежал ли от пошлости, все ли силы отдавал, чтобы свою жизнь наполнить смыслом, трудом, пользой для других. К этому побуждают атмосфера музея, странички чеховских книг.

Задержаться бы, в самом деле, разобраться в собственном настроении, но экскурсионный конвейер неумолимо влечет по заведенному маршруту — коридорчиками, балконом, летней галереей, мимо комнат, вход в которые преграждают натянутые служебной безучастностью шнуры. И вот — стоп! Дальше хода нет! И хотя понимаешь, что это вынужденная мера, что бесцельные толпы, прошедшие через эти комнаты, ускорили их обветшалость, все же неудержимо хочется заглянуть в кабинет, где каждая вещь, каждый документ, фотографии, картины напоминают о взыскательном литературном труде, о том, что боле-

Чехову утешением в «теплой Сибири», как назвал он в один из дней одиночества Крым, о гражданской отзывчивости, сдержанности этого необычайно душевного человека, чуткого к фальши и несправедливостям жизни, горю и болям людским.

Но нам повезло: мы попали в число немногих счастливых, допущенных в эту — воистину! — святая святых.

На письменном столе все расставлено и разложено так, чтобы было удобно работать, писать — в «египетском» стиле чернильный прибор с подсвечниками, в бокале — карандаши и ручки, белые слонихи из кости, привезенные с острова Цейлон, справочники, к которым обращался писатель. Валик для марок, весы, на которых взвешивалась корреспонденция. Чеховская печать. Хрустальная чернильница — подарок В. Гиляровского. За этим столом он радовался, страдал и мучился жизнью героев повестей «В овраге», «На святках», «Невеста», «Архирей», им написана тут пьеса «Три сестры». Написан «Вишневый сад», которым сразу же после публикации в журнале глубоко заинтересовался В. И. Ленин.

«Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает — в обстановке ли, в здоровье ли... — сетовал Чехов. — Не следовало бы мне в Ялте жить, вот что! Я тут как в Малой Азии...»

Он не мог обходиться без привычной литературной среды, хлопотной и широкой московской жизни. Он любил дружеские сборища, театральные кулисы, любил искрящиеся умом, юмором, живыми наблюдениями беседы о литературных новостях, о том, что боле-

ло, тревожило его и близких ему людей.

Милые его сердцу вещицы, ставшие драгоценными экспонатами... Сколько за ними памятных событий, раздумий, поступков и настроений писателя, которым дано и поражать, и дарить открытия каждому, кто к ним прикоснется. Вот В. Вересаев записал в воспоминаниях: «Для меня очень неожиданный интерес, который Чехов проявил к общественным и политическим вопросам... Видимо, революционное электричество, которым в то время был перенасыщен воздух, встряхнуло и душу Чехова».

Это собрание подробностей многогранно, как линза, преломляющая свет, и многоцветно, как лучи, отбрасываемые ею. Журналы, вестники, книги его личной библиотеки говорят не только о литературных симпатиях, но и об интересе к наукам, нравственным и социальным проблемам времени. В письмах он восхищается поведением студентов, выступивших против чиновничьего произвола. Принимал их у себя в Ялте, в том числе будущего поэта Максимилиана Волошина, исключенного из университета. Отлитая из бронзы медаль с изображением поэта В. Жуковского напоминает об избрании Чехова почетным членом Академии наук по разряду изящной словесности. Он шутиливо подписывался в письмах — «потомственный академик». Но в его «академической» биографии не менее впечатляет бунтарское правдолюбие, столь далекое от академически спокойного почивания на лаврах. Ведь вскоре после избрания он обратился с просьбой о сложении с него легкого звания. Это был мужественный выпад против Николая II, потребовавшего отменить избрание в академики непокорного, находящегося под следствием М. Горького.

В кабинете светится белыми парусами модель корабля. Нет, он не искал покоя в буре: многие сохранившиеся предметы рассказывают об общественном темпераменте писателя, бескорыстии, его обыкновении жить без расчета. Медный

колокольчик, отлитый и подаренный каторжанином, с надписью: «Остров Сахалин. Пост Александру. 1889 г.» Об этой неимоверно тяжелой, изнурительной поездке, послужившей материалом для книги «Остров Сахалин» — страшного обвинения самодержавия, напоминает и висящее в коридоре, за стеклянной дверцей шкафа, длинное кожаное пальто. Как знать, может быть, в этом пальто он снова отправился бы, но уже врачом, на Дальний Восток, где разразилась драматическая события русско-японской войны.

Он всегда чувствовал себя врачом. И здесь, в Ялте, никому не отказывал в медицинской помощи и никогда не брал денег. Бывали случаи, когда он мог отложить перо и пустить в дело медицинский молоточек, стетоскоп, плезиометр, которые всегда находились под рукой, на письменном столе. Его попечительством пользовалось Ялтинское благотворительное общество, он собирал пожертвования для приезжающих без средств больных, вместе с М. Горьким мобилизовал, как сказали бы сейчас, общественность на устроительство общедоступного санатория «Яузлар» для малоимущих больных. И как справедлив ход истории: теперь здесь превосходная, оборудованная новейшей аппаратурой здравница имени А. П. Чехова для легочных больных. Как врач он многое успел, а вот свою болезнь упустил. Шемдящую боль вызывают лежащая на плюшевой скатерти коробочка с двумя мятыми конфетами, шесть нераспечатанных бандеролей, полученных с почты, когда тот, кому они были адресованы, доживал последние дни в Баденвейлере...

В простенке — деревянный телефон, который так стар, что уже никто не помнит его номера. А по этому аппарату Аля (Окончание на 6-й стр.).

(Окончание.
Начало на 5-й стр.).

В ГОСТЯХ У ЧЕХОВА

тон Павлович принимал постоянно ожидаемые телеграммы, разговаривал с М. Горьким, И. Бунным, звонил А. Толстому, жившему неподалеку, в Гаспре, на даче. Лев Николаевич трогательно относился к младшему собрату по перу, сказал как-то, что он «милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня», афористично определил его место в литературе: «Чехов — это Пушкин в прозе». Хотя пьес его не одобрял. Ну что ж, литературные пристрастия непостижимы: и могучего Шекспира не любил могучий россиянин из Ясной Поляны. Письма Антона Павловича полны высоких слов о великом художнике, но в них и неодобрительное отношение к его философии, морали, за что, видимо, и прозван был А. Толстым «безбожником». Да, любовь литератора к литератору, в отличие от любви иной, обязана быть зрячей, бескомпромиссной. Хотя сердце говорит и в ней. Чехов не раз говорил с М. Горьким на даче у Толстого, приехал, когда Лев Николаевич тяжело заболел, тревожился, готов был дежурить у его постели.

Сколько слышано, читано о том, как в один из грустных вечеров, когда хозяин дома особенно затосковал по северной природе, И. Левитан, его давний и, может быть, единственный друг, попросил кусок картона и, как писал потом А. Чехов, «изобразил лунную ночь во время сенокоса. Луг, копны, вдали лес, надо всем царит луна». Рассматриваешь этот этюд, вправленный в нишу камина, и не перестаешь поражаться, как художник мог уловить и столь проникновенно передать в картине настроение, которое было, видимо, не только его собственным, но и настроением ялтинского затворника. Словно ему были известны строки чеховского письма:

«Мне скучно не в смысле мировой скорби, не в смысле-то-ски существования, а просто скучно без людей, без музыки, которую люблю, и без женщин, которых в Ялте нет». И из другого письма: «Без России нехорошо, нехорошо во всех смыслах».

МАГНЕТИЧЕСКОЕ поле чеховского дома побуждает к работе фантазию, и так естественно представить, как из глубины кабинета, залитого солнечным светом, смягченным разноцветными стеклами полукруглого итальянского окна, выходит навстречу посетителям, чуть сторбившись, Антон Павлович. Высокий, похудевший, одетый прилежно, в темное, как будто ждет гостей. Голова чуть запрокинута, сквозь стекла пенсне глаза смотрят добро, мягко, и это подкрывается припухлостью век. Привычным жестом пригладил прядь волос. На заострившемся, слегка загорелом лице проступила на мгновение улыбка, ясная, открытая. «Нет, нет, не потревожил», — предупредил бы застенчиво, глухо покашливая. Ну, а листы белой бумаги и перо на столе, за спиной — так он всегда пишет. И снова короткая улыбка. О чем пишет? Пожал бы, что о работе вообще предпочитает не распространяться, да еще о незаконченной. Правда, он если и говорил о своей работе, то чаще не всерьез, подтрунивая над собой, как, например, в одном из писем: «Я оканчиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом».

Таким он предстает на страницах воспоминаний о нем его современников. В тех же вос-

поминаниях, в исследовательской литературе достаточно сказано о его застенчивой сдержанности, замкнутости, скрытности. И экскурсоводы не преминут напомнить об этом. А между тем в его письмах, особенно писанных в тиши этих комнат, когда он, может быть, впервые находил нужные слова, чтобы поведать уже не о чужой, а о своей любви, в этих письмах рассыпано множество интимных признаний, подробностей личной жизни, оттенки настроения, душевных переживаний.

Извечно обывательское и исследовательское любопытство к интимным перипетиям жизни великих. Оттого всякий раз, когда прикасаешься к этому сокровенному, дорогому, но — все-таки! — чужому, испытываешь не только благоговение, но и страх, и неловкость, и стесняющую боязнь: а не уподобился ли и ты любителям замочных скважин в легендарных спальнях? Но нет! Есть другое, более волнующее, чем пикантные подробности таких биографий. Ведь наш интерес к любви Пушкина и Керн широк и разносторонен. Но это прежде всего стремление глубже постичь коловскую силу «чуждого мгновения». Так и тут, в чеховском доме.

Когда читаешь письма Антона Павловича и думаешь о том, как отозвались они в его творениях, хочется только правды, правды и чистоты. И вспоминаешь: вот что странно — в них нет и намека на глубокое чувство А. П. Чехова к писательнице Лидии Авилевой, о котором, не без налета сенсационности, поведала Инна Гофф на страницах «Нового мира». Хотя внешняя схожесть ситуаций «Дамы с собачкой», «О любви» с тем, что было в отношениях Чехова и Авилевой, провозвучает на отождествление.

Современные читатели, умеющие многое улавливать между строк, а тем более исследова-

тели, как рентгеном, высвечивающие своим изощренным зрением любые тексты, конечно, уловили бы даже самый призрачный, пусть завуалированный намек на любовное чувство. Но его нет, нет и в поимен! А буквально рядом по времени — трогательные, милые письма к О. Л. Книппер, переливающиеся нежными признаниями, блестящими юмора, за которым ощущается желание спрятать и пылкость позднего чувства, и надежду на счастье в женитьбе, и невеселые мысли о затянувшейся болезни. «В Ялте уже весна совершенная, все деревья в цвету, многое отцвело (в том числе и я)...» «Я ведь так тебя люблю, знай это, жить без тебя мне уже трудно...» «У меня все в порядке, кроме одного пустяка — здоровья». И вдруг на этом фоне — потаенная любовь Чехова? Приняв беллетристические воспоминания Л. Авилевой «А. П. Чехов в моей жизни» за документальные, достоверные мемуары, Инна Гофф, подменяя факты литературным сочинительством влюбленной женщины, невольно преувеличивает ее место в жизни и творчестве писателя. Конечно, отношения были, складывались они не просто. Но, несомненно, носили иной характер. Однако это уже все заслуживает отдельного разговора.

Такой разговор тем более необходим, что, думая о тонкой, ранимой душе Чехова, не можешь не представить, как воспротивилась бы она литературным «сенсациям» по поводу его сокровеннейших чувств.

ВООБЩЕ человеческая сущность Антона Павловича так ощутима здесь, жива, что все хочется мерить его мерками.

Чехов, один из самых, пожалуй, скромных и деликатных писателей, что называется, на дух не переносил праздного интереса к своей персоне, шума вокруг своего имени, всяческого почитания. Но это ни в коем разе не должно охлаждать энтузиазм ялтинцев, которые хотели бы видеть свой город истинно чеховским мемориалом. В его облик естественно вписался памятник Антону Павловичу, уютно расположившийся в Приморском парке.

Его имя носят театр, школа № 5, где размещалась женская гимназия, членом попечительского совета которой он состоял.

Ялтинцы могли бы последовать примеру таганрогцев, которые создали целый музейный комплекс. Его составляют дом, где родился А. П. Чехов, лавка, в которой вместе с отцом он торговал, школа — бывшая гимназия, в которой учился. В Ялте не меньше, если не больше мест, связанных с именем писателя. Почему бы не создать музей-квартиру на даче «Омюр» по улице Кирова, принадлежавшей некогда Иловайской? В этом крепкой постройки доме, соединившем черты мавританской и викторианской архитектуры, Антон Павлович, пока строилась дача, снимал комнату на первом этаже. Собранные в мемориальной комнате фотографии, документы, вещи, книги, хранящиеся пока в запасниках, поведали бы о первых приездах Чехова в Ялту, о его работе тут над рассказами: «Случай из практики», «По делам службы», о его работах по воспитанию местной литературной поросли. Наверное, можно бы включить в чеховский маршрут туристов и комнату № 39 гостиницы «Таврида», бывшей «России», где писатель в 1894 г., приехав лечиться, проживал и написал один из своих любимых рассказов «Студент».

Трудно, конечно, да и вряд ли необходимо восстанавливать на набережной «Русскую избушку» — книжно-табачную лавку И. А. Синани, да и место, где она стояла, перепаханное немецкими бомбами. Антон Павлович любил заходить в уютный магазин, порываться в книжных новинках, перекинуться новостями с писателя-

ми, удобно устроившись на лавочке перед входом. Наверное, можно соорудить на этом месте такую же «литературную скамью». Сберегли же в саду дома-музея деревянную скамейку, излюбленное место уединения Чехова, где Горький однажды подсмотрел, как тот пытался поймать шляпой солнечного зайчика.

Сотрудники музея, чутко улавливающие постоянно возрастающий общественный интерес к личности и творчеству Антона Павловича, мечтают о том времени, когда изыщутся средства и для строительства кинолектория с помещением для библиотеки.

В зале можно было бы показывать экскурсантам кинофильмы о Чехове, которые находятся в фондах телевидения и кинематографа, проводить литературные вечера. Пока же их устраивают на площадке перед музеем, под открытым небом, как это было недавно, когда перед большим стечением публики выступала с воспоминаниями о семье писателя его племянница Евгения Михайловна Чехова. И народный театр драмы ялтинского Дома учителя играл спектакль «Дядя Ваня» прямо во дворе — для гостей традиционно проводимого 9 сентября «чеховского новоселья». В этот день много лет назад Антон Павлович переехал с семьей в отстроенную дачу. Будь у музея свой зал, можно было бы еще интереснее организовать «чеховские уроки» для первокурсников школы № 5 им. А. Чехова, хотя и сейчас делается немало — ребяташек проводят по музею, перед ними выступают знатные люди Крыма, им вручают грамоту с чеховскими заповедями молодежи, небольшую библиотечку произведений Антона Павловича.

Пришло время проводить в Ялте Чеховские дни, да и решение, принятое два года назад, к этому обязывает. Устраиваются же на Черноморском побережье Пушкинские дни, у истока которых, кстати, был Чехов. И чтобы приурочивали к этому событию гастроли те-

атральных групп из республик и крупных городов, которые знакомили бы жителей и гостей Крыма со своими постановками чеховских пьес. Нашел же возможность приехать в Ялту МХАТ, когда дом-музей отмечал шестьдесят лет своего существования. Это стало волнующим событием в культурной жизни города.

В ОДИН из вечеров, после спектакля, мхатовцы отправились в Аутку, на огонек к Чехову. И. Смоктуновский, А. Попов, Е. Кирилов, Е. Васильева, С. Десницкий, Е. Кондратов... Призывно светились в дождливой мгле окна дачи. У входа сторожило покой дома оливковое дерево, по поверью греков, символ гостеприимства. Прошли в гостиную, расселись вокруг большого стола. Говорили тихо, приглушенно.

Мне не довелось присутствовать при этом разговоре, но кажется — был там, когда читаешь запись беседы.

— За этим столом вот так же, весной, собирались наши старшие товарищи по театру. Мхатовцы первого призыва, так сказать... Восемьдесят лет прошло. В полном составе приехали тогда на гастроли. Они здесь были, здесь...

— Играли в те дни «Гедда Габлер» Ибсена, «Одиноким» Гауптмана и, конечно, «Чайку» и «Дядю Ваню» чеховские.

— Почему же мы только «Иванова»? Надо было «Чайку» привезти, собирались же.

— Он тогда, кажется, разглядел каждого артиста, почувствовал его талант, особенности натуры, он и роли потом писал на определенных актеров. Теперь это редко с драматургами случается.

— Тогда он Горького звал в Ялту погостить. А сам сходил. Хотел его приохотить к сцене. Кстати, после близкого

знакомства с театром Алексей Максимович и написал свои первые пьесы «Мещане» и «На дне». Для нашего театра.

— Не помню, кому-то Чехов писал, что мхатовцы должны играть исключительно современные пьесы. Отображать пульсирующую жизнь...

— Ольге Леонардовне Книппер писал, кажется.

Они гадали, где тот прославленный, приветствуемый Гаевым «глубокоуважаемый шкаф», удивлялись, что шкаф и непрезентабелен; рассматривали групповую «срежиссированную» фотографию, где Чехов читает артистам «Чайку»; глядя на старенький телефон, пытались ощутить, как ждал Антон Павлович звонка из столицы с тоской, отключившейся в «Трех сестрах»: «В Москву! В Москву!».

Расхотелись за полночь. В прохладной темноте, мерцающей голубиной, прощально кланялись под ветром кипариса. Дом, казалось, снова жил прежней, не музейной жизнью. Сквозь листву деревьев пробивался свет кабинетного окна. Возбужденное воображение помогало представить, как Антон Павлович сидит, слегка ссутулясь, за письменным столом и мерцание зажженных свечей пробивается в темный погруженный в сон дома. А под пером ложатся слова: «Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь... продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».

Вот и мы покидаем чеховский приют.

...Истаёт короткая южная ночь, день принесет тепло. В «дом одиночества», как назвал однажды свой кров Антон Павлович, снова придут люди. Придут в дом для людей. Придут к Чехову.

Бор. ХЕССИН,
заслуженный деятель
искусств РСФСР.
Рис. Н. Левинцевой.